

В.Ф. Ходасевич

## Сологуб

И верен я, отец мой Дьявол,  
Обету, данному в злой час,  
Когда я в бурном море плывал  
И Ты меня из бездны спас.  
Тебя, отец мой, я прославлю  
В укор несправедному дню,  
Хулу над миром я восставлю  
И соблазняя соблазню.

*Федор Сологуб*

У тебя, милосердного Бога,  
Много славы, и света, и сил.  
Дай мне жизни земной хоть немного,  
Чтоб я новые песни сложил.

*Федор Сологуб*

Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было не легко. Должно быть, это не легко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появился — древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразений...» — так начинается он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал — и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.

Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, — большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые, висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:

— А вы все еще существуете?

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.

А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, несколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.

\* \* \*

Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленней, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) — напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями.— Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное — они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует.

Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может — слишком. Число его стихотворений выражается цифрой во всяком случае четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб несомненно знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.

Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка — и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова — не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно написано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах — да и то разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой — и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.

Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически не молодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь — без молодости, его поэзия — без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживя физически, других он пережил поэтически: умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.

\* \* \*

Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.

Не спору: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция — наш конек. Открыли «эволюцию» — и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.

К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности — его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилён. Эволюция была бы налицо, если бы эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец — то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые, в случае эволюции, должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, — на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.

Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году написаны? А разве ясное, ничем не омраченное любованье речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:

Не забудем же дорог  
В Божий радостный чертог,  
В обители блаженных,  
И пойдем под Божий кров  
Мы в толпе Его рабов  
Терпеливых и смиренных.

Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам — в 1898 году? А вот — о земле:

Вы не умеете целовать мою землю,  
Не умеете слушать Мать Землю сырую  
Так, как я ей внемлю,  
Так, как я ее целую.

О, приникну, приникну всем телом  
К святому материнскому телу,  
В озарении святом и белом  
К последнему склонюсь пределу,—

Откуда вышли цветы и травы,  
Откуда вышли вы, сестры и братья.

Только мои лобзанья чисты и правы,  
Только мои святы объятья.

Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».

Неверно и то, будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.

И в 1911 году он писал:

Прекрасные, чужие, —  
От них в душе туман;  
Но ты, моя Россия,  
Прекраснее всех стран.

Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.

Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?

Адонаи  
Взошел на престолы,  
Адонаи  
Требует себе поклоненья,—  
И наша слабость,  
Земная слабость  
Алтари ему воздвигала.  
Но всеблагий Люцифер с нами,  
Пламенное дыхание свободы,  
Пресвятой свет познания,  
Люцифер с нами,  
И Адонаи,  
Бог темный и мстящий,  
Будет низвергнут  
И развенчан  
Ангелами, Люцифер, твоими,  
Вельзевулом и Молохом.

Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:

Знаю знанием последним,  
Что бессильна эта тьма,  
И не верю темным бредням  
Суеверного ума.

Посягнуть на правду Божью —  
То же, что распять Христа,  
Заградить земною ложью  
Непорочные уста.

Или:

В ясном небе — светлый Бог Отец,  
Здесь со мной — Земля, святая Мать.

Но — через несколько страниц снова:

Зачем любить? Земля не стоит  
Любви твоей.  
Пройди над ней, как астероид,  
Пройди скорей.

А пока что — восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».

По совести — очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, — так же как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она — без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда слагался Сологуб, — мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся — и таким пребывавшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу всегда неизменно. Как жизнь Сологуба — без молодости, как поэзия — без ювенилий, так и духовная жизнь — без эволюции. Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удается доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально верно и какие в нем самом были противоречия. Оно — ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.

«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразений, я спокойно и просто открываю свою душу», — говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному кругу» — и не устает повторять это в стихах и в прозе. Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразений.

Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем — Я, и только Я, нет иного, и не было, и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожаделенные». В процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол — только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью — переходом к новому циклу:

И все, что жило и дышало  
И отцвело,  
В иной стране взойдет сначала,  
Свежо, светло.

То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).

Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, — как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто бы для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла — только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь — Ева, «бабища дебелая и румяная». Это —

грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вожделенных».

Где же эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:

Звезда Маир сияет надо мною,  
Звезда Маир,  
И озарен прекрасною звездой  
Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира,  
Земля Ойле,  
И ясен свет мерцающий Маира  
На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,  
Река Лигой  
Колелет тихо ясный лик Маира  
Своей волной.

Бряцанье лир, цветов благоуханье,  
Бряцанье лир  
И песни жен слились в одно дыханье,  
Хваля Маир.

Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно, и, во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучноватой. Утомительна и сурова — это уж непременно:

Кто смеется? Боги,  
Дети да глупцы.  
Люди, будьте строги,  
Будьте мудрецы,  
Пусть смеются боги,  
Дети да глупцы.

Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож-резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или Я Илия?» «Она Селениточка — а на селе ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если видит, то страшные или злые.

\* \* \*

Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя — пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», — намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мои милые современники, это о вас».

О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее — он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться

с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, то есть лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:

— Вы делаете мне больно.

И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил.

В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:

Быть с людьми — как бремя!  
О, зачем же надо с ними жить,  
Отчего нельзя все время  
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, Впрочем — суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу в конечном счете решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.

На Ойле, далекой и прекрасной,  
Вся мечта и вся любовь моя.

На земле знавал он только несовершенный отсвет любви ойлейской.

\* \* \*

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил — и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

...Рассказать, чем сердце жило,  
Чем болело и горело,  
И кого оно любило,  
И чего оно хотело.

Так мечтаешь хоть недолго  
О далекой, об отцветшей,  
Имя сладостное Волга  
Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частью в Костроме, частью в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:

Снова саваны надели  
Рощи, нивы и луга.  
Надоели, надоели  
Эти белые снега.

Эта мертвая пустыня,  
Эта дремлющая тишь!  
Отчего ж, душа-рабыня,  
Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,  
К шумным стогнам городов,  
На размах аэроплана,  
В громыханье поездов.

Или, жажду жизни здешней  
Горьким ядом утоля,  
В край невинный, вечно — вешний,  
В Элизийские поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times'e, а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение аизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она росилась в Неву с Тучкова моста.

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев, все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор — на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны — у П.Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 года — у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года — вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Недаром, упорствуя, не сдаваясь, в холод и голод, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:

Тирсис под сенью ив  
Мечтает о Нанетте,  
И голову склонив,  
Выводит на мюзетте:  
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,  
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь.

И эхо меж кустов,  
Внимая воплям горя,  
Не изменяет слов,  
Напевам томным вторя:  
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,  
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь...

*Париж, январь 1928 г.*